

## АСТАФЬЕВ ВИКТОР Петрович. Царь-рыба.

Отрывок

### БОЙЕ

По своей воле и охоте редко уж мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки - много родни, много друзей и знакомцев - это хорошо: много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо, пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом...

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темноты, а то и до утра, занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут, не наплзут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми, язык неповоротлив, и огонек притухнет, и все в природе обретет ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу ее. В такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязливой тайной радостью ощутишь: можно и нужно, наконец-то, довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росой, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно забытому чувству - так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к дереву жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя...

Но так уж устроен человек: пока он жив - растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на расстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости.

...Тогда еще действовали орденские проездные билеты, и, получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в Игарку, чтобы вывезти из Заполярья бабушку из Сисима.

Дядя мои Ваня и Вася погибли на войне, Костька служил во флоте на Севере, бабушка из Сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином, женщины доброй, но плодovитой, смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом выволить ее с Севера, от чужих, пусть и добрых людей.

Я многого ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело, и мне показалось: никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы. Лишь ближе к пожару толпился и бегал кой-какой народ, гундели красные машины, по заведенному здесь обычаю качая воду из лыв и озерин, расположенных меж домов и улиц, громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима.

Хозяев дома не оказалось. Бабушка из Сисима в слезах пребывала и в панике: соседи

начали на всякий случай выносить имущество из квартир, а она не смела - не свое добро-то, вдруг чего потеряется?..

Ни обопнуться, ни расцеловаться, ни всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели. Я с ходу принялся увязывать чужое имущество. Но скоро распахнулась дверь, через порог рухнула тучная женщина, доползла на четвереньках до шкафчика, глотнула валерианки прямо из пузырька, отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации: на улице успокоительно забрякали в пожарный колокол - чему надо сгореть, то сгорело, пожар, слава богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки. Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане, и только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или по чему-то.

Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне, хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли.

Назавтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в Медвежьем логу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос: "Мало имя меня, дак ишшо и пальня сплатируют!" Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с хозяином, собирались идти обедать, как появилась по-над логом бабушка из Сисима, обшарила низину не совсем еще заплаканными глазами и, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно знакомый мне паренек в кепочке-восьмиклинке, в оборках висящих на нем штанах. Он смущенно и приветно мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски:

- Это брат твой.

- Колька!

Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого игарского драмтеатра.

Отношения мои после возвращения из детдома в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит бог, я пытался их сложить, какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребяташками - папа, как и прежде, пропивал вес до копейки и, следуя вольным законам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме.

Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, "должен уйти", хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно, страшно уходить на все четыре стороны - мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти - возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да и девки тоже, совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков.

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть "громоотводом", в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы и год от года все более дичающей, необузданной в гневе мачехи, ушел, но тихо помнил: есть у меня какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры, Колька сообщил - уже пятеро! Трое парней и две девочки. Парни довоенного производства, девочки создались после того, как, пововав под Сталинградом в составе тридцать пятой дивизии в должности командира сорокапятки, папа, по ранению в удалую голову, был комиссован домой.

Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да, что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня:

- Съезди, съезди... отец всеш-ки, подивуйся, штоб самому эким не быть...

Работал папа десятником на дровозаготовках, в пятидесяти верстах от Игарки, возле станка Сушково. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте "Игарец". Весь он дымился, дребезжал железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, ходуном ходила, того и гляди отвалится; от кормы до носа "Игарец" пропах рыбой, лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвоздь и вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали с Колькой на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощатым настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью, кишками, патрубков помпы забивало чешуей рыбы, она не успевала откачивать воду, бот в повороте кренило набок, и долго он так шел, натужно гукая, пытаюсь выправиться на брюхо, а я слушал брата. Но что нового он мог мне рассказать о нашей семейке? Все как было, так и есть, и потому я больше слышал не его, а машину, бот, и теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что я видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково. А тут еще "Игарец" булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу, и так жаль было мне эту вонючую посудину.

Я раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхалось сердце, когда возле одиноко и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов-бабочек под чутко и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя! Чуть в стороне, на зеленом приплеске топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу боту "Игарец", в изнеможении остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок пересейянного ветрами песка, мчались ребятишки, обутые и одетые кто во что, за ними с лаем неслась белая собака...

Телеграммы в Сушково мы не давали, да она сюда и не дошла бы, Коля, ездивший поступать в игарскую школу и там случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя, захлебываясь, кричал, показывая на трап:

- Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то... Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно - последний раз он облобызал родное чадо лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала.

- Живой! Слава богу, живой! - По лицу родителя катились слабые, частые слезы. - А мне кто-то писал или сказал, будто погиб ты на фронте, пропал без вести, ли чё ли...

Вот так вот: "не то погиб, не то пропал без вести, ли чё ли..." Эх папа! Папа...

Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, чаще и встревоженной дергалась ее голова.

Я подошел, поцеловал ее в щеку.

- А мы правда думали, пропал, - сказала она. И не понять было: сожалеет или радуется.

- Я женат. У меня своя семья. Заехал повидаться, - поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее да и свое облегчение, обругал себя: "Все ищешь, недотыка, то, чего не терял!"

Ребятишки, лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли, показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным

каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бойе. Бойе или Байе - по-эвенкийски друг. Коля кликал собаку по-своему - Боё, и потому как частил словами, в лесу звучало сплошняком: "ё-ё-ё-о-о-о".

Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойе не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, о чем-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано. Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою, хорошим. Это детски наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи - дворянство здесь так искоренено и не было, оно приняло лишь комнатные виды.

Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить, но так природой назначено собаке - быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником.

Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми - не мешает ли? Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: "Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные..." И, не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бойе вежливо снимал с детской руки замусоленный осколочек сахара или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутно и лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал.

С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком и, озырнувшись на избу - не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отречения от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости...

Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопухо опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе место, даже повизгивал и скулил, точно хворый.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убежал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин,

песчишко сунулся ему меж ног, отыскивая спасенье и защиту.

Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей - они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку - друга своего. Тот одна так забегался за подранком - глухарем, что затемняло в тайге и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе сперва отыскал, затем привел к нему людей.

Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. "Чего-то узрел!" - насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! "Вот дурень! - улыбнулся Колька.- Засиделся около дома, балуется". Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил - в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.

Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками:

"Чего за свою бурную жизнь не перевидел, - говорит, - приключений каких только не изведаль, однако подобного дива не зрел еще. Бестия - не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, або утопили обоих - за колдовство, привязавши к одному камню..."

В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.

Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горячку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья - нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали - не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела - пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозит за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа - нет собаки. И тогда он решительно крикнул:

- Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вслед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.

Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!

К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности - замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.

Я отговаривал родителя - только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно

Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель отвечал коротко и решительно: "Яйца курицу не учат!" И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался-таки на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: "Пишу письмо - слеза катится..." По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в "белом домике". И снова - в который раз! - затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.

Лет десять спустя после встречи с отцом и семьей в Сушкове попал я на Север по творческой командировке. На сей раз бог меня миловал - в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение - гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном - самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без полов.

Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу - сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.

Я заозирался вокруг - никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдвинул ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:

- Я брат твой!

Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не выдавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.

Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решил.

Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала рвать на себе волосы-ленточки те были продуктовыми талонами, деньги - зарплата рабочим-рыбакам.

Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикитил: на озера, в бригады ехать ему нельзя - разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом; "Всем господам по сапогам!..", "Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на урок положили..." Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немисленно тяжелую работу - пешнями долбят двухметровый лед, и, пока доберутся до воды, делают три уступа, майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу - чира, пелядь, сига.

Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.

Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей - на Крайнем Севере возводилась железная дорога.

Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задержавшись с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца - понимал парнишка: мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смиренным и виноватым, загородил собою Бойе.

- Это ж собака... В людских делах она не разбирается... - И, заметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: - Стрелять не собаку, меня бы...

Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошел ее короткой очередью.

Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забило передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнался по трапу подконвойных в трюм баржи.

Плакал отец, трусая по трапу в гущу людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.

Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, неба серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея или осуждая кого.

И впрягся Колька в ляжку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы, в мокромозглую ли осень, в дурное ли вешнее половодье парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями - кормил, как мог, семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевши перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него.

Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет, и долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятшек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть меня, и не всем братьям и сестрам та жизнь задалась...

Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя

руками - это у всех у нас от папы, - говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не все самые лучшие, навсегда отпечатались в нас.

Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал, мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую Игарку, на озера, и мы там - порода-то одинаковая! - нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе с наревленным в детстве пупом и побрел. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить - на дне заполярных озер, под рыхлым торфом и тиной вечный лед, и ему ли, с его "могучим" телосложением...

- Ниче-о, ниче-о-о-о! - всхлипывая от холода, брел Колька напропалую, вглубь. - Привычно. - Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: - Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает: ты худ, я худ, погоняй худ худа...

- У-ух! - оступился братец, ахнул, ожгло его водой, и поскорее на берег, не закончив присказки, однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты ошпаренный студеной водой, обляпанный ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо.

Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел.

Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаюсь без соли испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже - дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город, - во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец - вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Не прожитое, не отыгранное, не отбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь... Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться.

Коля заявил: точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно, от этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь.

В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой, Николай Петрович, вкупе с двумя напарниками бултыхался среди густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков в дребезжащем всеми железками гидросамолетике, держал курс на Таймыр - промышлять песка. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждающим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи.

Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте - одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на "накроху" и на еду себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье.

Выметав две мережи: одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее

распространялась вонь, и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя, хотелось узнать, что в них попало. Он спустился к Дудыпте - сети не видать. Ладно привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мережи, Попробовал подтянуть сеть с плота - она не сдвинулась с места. "Зацепилась!" - огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился - мережу утопила рыба! Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды: нельмы, чирьи, сиги, шуки зубатые - все рыба отборная. На полотне мережи обнаружили "окна" - человек пролезет! Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся.

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, остальной же весь улов на прикорм: хорошая накроха - половина дела в промысле песка ставными ловушками.

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок, на глухую пору зимы да и от снежной слепоты рыбий жир - верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили: коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вонючки в тепле избушки, пусть будет душина - стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, кое-где на кустах оставшуюся, обдаивали, клюкву из моха выбирали. Верстах в десяти от зимовья, среди выветренных, болотом поглощенных скал островок лиственного леса, в нем краснела брызганка - брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили - всю зиму жечь не пережечь, бражонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до "настоящей" работы.

Удачно начался сезон, ничего не скажешь! Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели - человек бывалый, и войну и тюрьму прошел. В этих краях, у озера Пясино долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле Сопочной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать - не поглянулось: инвалидная работа, привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движенья, просторов и форта жаждет.